Олег КУИМОВ

# Сладкий плен агаевской интонации

*О книге Самида Агаева «Лавка сновидений»*

Судьба книг – интересная штука: бывает так, что текст с увлекательнейшим сюжетом со временем помнится в общих чертах, зато другой, впечатливший менее, накрепко заседает в памяти и нет-нет да напомнит о себе подобно тому, как, случается, какой-нибудь запах или необычный звук пробуждает внутри ощущение когда-то пережитого. А всё, пожалуй, потому, что высокохудожественное произведение, в первую очередь, – настроение, играющее в некотором роде роль волшебной дудочки, звуки которой высвобождают сознание из настоящего мира и уводят в особый, «блистающий мир», если вспомнить образ Александра Грина. (Это настроение и есть душа произведения, вдохнутая в него автором-творцом при помощи особого словесного строя, проще – индивидуальной авторской интонации.)

Много лет тому назад подобное впечатление произвёл на меня сборник Самида Агаева «Лавка сновидений», а ещё более удивило, что такое отображение русской души в слове продемонстрировал писатель, для которого родной язык – азербайджанский. Вторичное прочтение произвело на меня ещё более глубокое воздействие, нежели в первый раз, и я не мог сдержаться, чтобы не поговорить о книге, несмотря на то что она уже не нова. И всё-таки несправедливая неизвестность достойного сборника оправдывает, как мне кажется, мой выбор.

Книга с самого начала привлекает внимание профессиональным подходом. Названия на редкость точно отражают внутреннее содержание произведений и главную идею. Вдобавок, все произведения объединены общим осенним настроением. А как же иначе, если по существу «Лавка сновидений» – книга-поиск и книга-ожидание одновременно? Ожидание любви, без которой жизни героев недостаёт гармонии, особенно остро проявившееся в приключенческом детективе «Греческая рапсодия» и повести «Роман нелюбящих». Не случайно одна из глав последней названа «Предчувствием любви».

Драма всех героев книги заключается в том, что никто не обретает счастья. Горечь несостоявшегося – пожалуй, один из главных мотивов сборника. Но надо помнить о времени написания этих произведений – девяностые годы. Возможно, поэтому и настроение произведений созвучно декадентскому духу литературы так называемого утраченного поколения – то же ощущение крушения мира, та же горечь, но агаевская – с неповторимым светом радости от присутствия в этом мире.

Надо заметить, Самид Агаев тонкий писатель, чувствующий нюансы психологии, что продемонстрировано в сцене раздевания одной из героинь его прозы перед строителем. Не даётся ответа ни на вопрос, что подвигло её на такой поступок, ни на то, почему она вдруг сорвалась и убежала. Ответ, как и в жизни, знает только сама героиня, а может, и не знает сама. Да и нужен ли он, этот ответ, если главное в рассказе – передать атмосферу духовного страдания нескладывающейся жизни, того человеческого одиночества, что в моменты высшего напряжения манит нас в заоблачные дали печалью непостижимой тайны и вдохновляет писать стихи? Только писатель с глубоким даром способен выразить в своём произведении подобное ощущение.

Эта самая «тонкость», помимо психологизма, проявляется и в замечательном юморе, и в сентенциях. Писателей принято считать знатоками человеческих душ. И Агаев оправдывает подобное представление. Чего, к примеру, стоят такие, претендующие на глубину психоанализа, психологические откровения: «Первый (речь у Самида Агаева идёт о зависимости мужчины от женщины) – материнский <>, – женское начало. Когда мужчину оплетают паутиной заботы и лишают уверенности в себе. Мужчине кажется, что он не проживёт без этой женщины… Второй – отцовский, мужское начало. Когда женщина зависит от тебя, как ребёнок. И если в первом случае у мужчины есть надежда на то, что найдётся что-нибудь, что вернёт ему уверенность в себе, то во втором ему уже не спастись. Ничто не заменит жалости. Эта добродетель опасна для личности».

Или следующая сентенция:

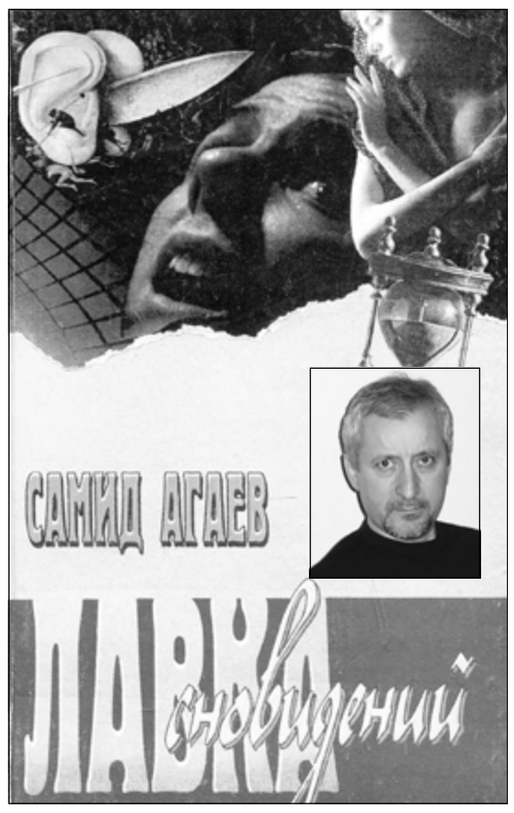
«– Её втянули в это, – неуверенно сказал Грек.

– Да бросьте вы – и запомните: никто, никогда, никого, никуда не втягивает насильно, всё в самом человеке».

Сборник изобилует подобными наблюдениями, помогающими разобраться в хитросплетениях человеческой души. Да и вообще, «тонкость» в «Лавке сновидений» это не отдельная тема, а, по существу, её основа. Чем-то казаковским очаровывает книга – та же опоэтизированная проза с нежной грустью радости присутствия на земле.

И, конечно же, в каждом произведении сборника заключена совершенно оригинальная идея. Так, роман «Греческая рапсодия» в большей степени повествует не о приключениях Виктора Грека, а о разрушении его внутреннего мира после измены жене, в конечном итоге приводящим героя к физической гибели. «Роман нелюбящих» отсылает нас к рассказу всё того же Юрия Казакова «Некрасивая»: тот же мотив веры и надежды на ту же тему внутренней красоты главной героини, хотя и без казаковского сокрытого прикосновения к Божьему, однако же с потаённым к нему устремленьем.

А вот рассказ «Колодец», представленный автором как лесная эклога, представляет собой двойственный символ. С одной стороны, неудача поиска колодца символизирует недостижимость мечты, а с другой, сам он – некое чудо спасительной чистоты. То самое чудо, которое мы ожидаем в раннем детстве, ещё не отрезвлённом всезнающей премудрой зрелостью. По внутреннему посылу перед нами проза-мечта, ожидание чудесного преображения жизни, как у Грина, только с явным оттенком взрослого романтизма (всё вроде понятно, и жизнь била, а всё равно надежда осталась и мечется туда-сюда в поисках счастья). И что важнее всего, герои Агаева так же, как любви, жаждут и очищения, потому что подсо-




Анатолий БАЙБОРОДИН

# «...И чувства добрые я лирой пробуждал»

*Напутное слово молодым сочинителям*

I.

По службе и дружбе полвека читал сочинения юной поросли, рождённые в тихие, печально-обмершие осенние дни, либо в синеватые, раздумчивые зимние вечера, либо короткими, как всполох зарницы, летними ночами. В иных сочинениях, в былые лета начертанных вкось и вкривь на свитках и тетрадных осьмушках, – сон разума, что рождает чудовищ, в иных – довременная душевная усталь и мысли, бездумно списанные с зачитанных хрестоматий, что в одночасье постарели, словно с обложек сорвали кумачовые рубища, обнажив тоскливую пустоту и морщинистую худобу. Тешил мою читательскую душу романтизм и, присущий юности, нравственный максимализм, хотя и жаль, что презирался не грех ближнего, а сам грешник, коего бы любить и жалеть пуще здравого, ибо хвор, да и все мы во грехах, яко во шелках. В эдаком максимализме, круто замешанном на гордыне, одиночестве и презрении к толпе, таилась взрывная разрушительная сила, что в буржуазном веке породила самоубийства и убийства ближних из презрения к ближним.

Из иных сочинений сочился змеиный яд цинизма и национального нигилизма, кои у нынешних мертводушных торгашей, ростовщиков и чиновников воплотились в неприязнь к совестливому русскому духу, русскому народному слову, обычаю и обряду.

Но, слава Богу, избранные сочинения юных дарований умиляли, восхищали ранней сердечной мудростью, сострадательной любовью к ближнему – что уже любовь к Вышнему, и чутко услышанной любомудрой, цветистой речью русских веков. От воплощения в прозаических сочинениях житейских бед и радостей избранные взошли к осмыслению многовековой народной судьбы, к исповеди и проповеди любви, запечатлённой строгим слогом. Дивила блаженная ясность душ, Божиим чудом убережённая в зловещем сумраке, в утробном рёве пресыщенных лиходеев, в хмельном плаче нищих бродяг, вчерашних трудяг, тоскующих по родному рабоче-крестьянскому царству-государству.

*Рождённое в сердце писателя – в сердце читателя взрастёт; рождённое в разуме – лишь разума и коснётся;* и благо, коли в душе молодого сочинителя – любовь, коя осветит и освятит читательские души. В согласии с сим извечным законом творчества из широкого и пёстрого потока молодой прозы и поэзии я, будучи издателем и редактором журнала, просеивал рукописи. Превозносить в напутном слове некие произведения молодых сочинителей дело неблагодарное, да и жаль отымать хлеб у доморощенных белинских.

Отравленные формальным изыском, по-юношески глупые либо застарело безумные, в коих бес вошёл, либо лукавые, служащие сему бесу, – эдакие брезгливо морщились: дескать, веет от опусов и виршей болотной тухлятиной русского академизма и народного традиционализма. Но писатели, читатели, чующие сладковатый и терпкий полынный дух русской народности, дивились тому, что и в поколении, созревшем под владычеством биороботного эгоцентризма, явились писатели, воспевающие любовь.

Даже в одичалые девяностые, когда супостаты похитили народное добро и ёрничали, измывались над русским целомудрием, искушая похотью ветреных юнцов и дев, так вот, даже в тогдашнем российском сумраке, в житейской скудости и бесправии мечтательные юноши и девушки вдохновенно сочиняли стихи и прозу. Если юную душу не палило честолюбие, и сочинение, словно ясный и печальный вздох, словно небесный, божественный восторг, вздымалось из покаянной либо восторженной души, жаждущей любви к Вышнему и ближнему, – в сем благословенном случае юным дарованиям можно поклониться, даже если проза и стихи, что явились из-под их пера, неуклюжи и шершавы. Вспомним, как ранешний деревенский паренёк, целомудренный и жалостливый, коряво и мучительно объясняется в любви, хотя давно уже возлюбил деву более себя самого. Разумеется, и слово бы высокое, вровень с высоким чувством, но то даровано лишь избранным, чьи произведения близки молитве. Хотя и тихий поэтический дар, подобный шелесту листвы, воспевающий любовь, – уже радость земная и небесная… Горько, когда за хлёстким и вёртким словом – холод, пустота либо лукавство и соблазн книгочеям.

Память доброго сочинителя, кою распирают впечатления, жаждет выражения, и не в застольных беседах, а в сокровенном сочинении, ибо не имеет выражения, как в былые времена, в величавом устном поэтическом слове. И столь дивны юные дарования, что воистину по Божьему промыслу начинали писательство с откровенного, исповедального душеписания, пусть даже бледным и бедным слогом.

II.

В былые лета довелось читать рукописи молодых сочинителей, кои вошли в сборник «Пусть будет музыкой любовь…», довелось разбирать и оценивать сочинения с точки зрения народности – речь не о воспевании сохи и бороны, серпа и цепа, лаптя и сарафана, хотя и сия песнь во славу русскому писателю; речь о изображении души героя в яростном борении света и тьмы, в небесных взлётах и земных падениях.

В сем смысле впечатлила повесть Михаила Попова «Ямской стан», где в сокровенном голосе слышатся века устной и книжной поэзии, что живёт и в русской прозе. Рассказ Анны Гусельниковой «Украденной имя» – полная житейских страданий и радостей жизнь деревенской бабы от девичества и до седых волос. Рассказ – школа всесветно славленой деревенской прозы, где писатели не вышли из простолюдья, но духом и словом остались в сем простом и добром народе, даже и приобщившись к мировой литературе.

Страдающие журнализмом, скудоязычием, тем не менее, близки русской школе рассказы Владимира Мешкова, которые можно обозначить и старописательским речением *физиологический очерк*, что мастерски сочинял Николай Некрасов. Рассказ «Напасть»: кающийся пьяница Спиридонов, измученная жена, бедовая семья; и в описании горьких будней сочинителя поджидало роковое искушение намалевать картины жизни словно дёгтем, погружая души читателей в унылый мрак, руша божественную гармонию света и тени. И добро, что юный сочинитель пытается одолеть искушение сладостного мрака… Увы, столь редки в нынешней литературе откровенные житейские сказы, ведающие о счастье обывателей, что возвысились над суетными буднями, потаённо, бескорыстно и деятельно возлюбив ближнего, что предтеча любви ко Всевышнему.

Подобное впечатление и о пронзительно печальном рассказе ЭдуардаТубакина «Письмо» про забытую деревушку, про одинокую старуха, брошенную родом-племенем; но от сказа сего трагического не веет вышепомянутой беспросветной тьмой. Светлы и певучи сказы Владимира Шавелкина о юношеской любви с восхищением, одухотворением мира, но и с муками ревности, робости, со встречами и разлуками. Сказ столь поучителен и душеспасителен в нынешнее лихолетье, когда юношескую любовь бульварная беллетристика, а тем паче зрелищные искусства опустили *до кустов*.

Если, отметая дешёвое бульварное чтиво, толковать о прочих избранных сочинениях, можно согласиться: не бездарны, со сложным психологическим рисунком, с яркими сценами и характерами, но от духа и речи сих писаний веет стылой переводной литературой,

А коли судить, рядить о поэзии, то стихи юных, в отличие от прозы, подобраны не по правилу *всякой сестре по серьге*, а по душевной и поэтической одарённости стихотворца, по степени освоения академической школы русского стиха, а то – единственный путь к самобытному поэтическому голосу. О избранных стихах можно сказать: *здесь русский дух, здесь Русью пахнет*, и словотворчество не ощущается, в чем краса и сила стиха, но волнуют душу выстраданные поэтом, запечатлённые чувства, возвышающие души из потёмок к солнечному свету.

И, коль юные дарования мечтают войти в *русскую* литературу, то должны обрести *русскость* в духе и слове. Словом, кроме филологической подготовки необходимо и русское народно-православное самосознание, необходима великая и восхитительная и сострадательная любовь к родному народу, чтобы любовь привить и книгочеям. Но у большинства молодых литераторов в душе клубится смута, а в иных юных душах властвует и демонизм, даже покрой не утаённый, куражливый и показной.

А с точки зрения литературной учёбы мало разбора рукописи мастерами… Живописцы, прежде чем создавать свои картины, будучи в картинных галереях, постигали шедевры великих мастеров и даже копировали их полотна. Помнится, в молодые лета я, читая излюбленных классиков русской прозы, исследовал их стили, выписывал в амбарные книги особо впечатлившие абзацы и пережил, похоже, невольное подражание неким мастерам.

Завершая краткое слово, скажу, что впечатление от юных сочинителей всё же благоприятное, и думается, из молодёжи, избранной, читающей не бульварную беллетристику, а русскую классическую литературу двух столетий, может вызреть созидательное поколение русских писателей. Дай Боже, чтобы постигали и средневековую литературу, что христианским духом сродни святоотеческим сочинениям.

Сергей ЛУЦЕНКО

# «Остаётся Родина со мной...»

*О книге стихов Александра Нестругина «Упрямая речь»*

Высокая и трагическая поэзия Александра Нестругина далека от камерности. Потому что в ней – Река, и Река эта – не только Дон. Это Река судьбы – его, поэта, и нашей судьбы. А ещё в ней – небо. И – степь. И – отклик «близких и пока далёких». Какие уж тут ограничения! Тут от безмерности дыхание захватывает…

Она далека от камерности особенно сегодня, когда всеобъемлющая память поэта «вздымает век», поворачивает время вспять, поднимая народную залежь, и стремится бросить светлые зёрна будущего, чтобы они пустили спасительные корни. И это – на прорыв:

*В истошном крике заполошном,*
*В ста тысячах визгливых «Я»!*

Так рождается неизбежный, прямой, не затемнённый никакими ухищрениями вывод:

*России нужно стать собою! –*
*И нет значительней идей…*
*И звать не к топору – к собору*
*Народ с кипящих площадей.*

И стих Нестругина уже зовёт, влечёт – *«К светлым чувствам и истинам ясным»…*

Это – гражданская поэзия высокой пробы. Та поэзия, которая не требует личных наград (ибо в ней самой – высший смысл), но требует, мучительно требует – счастья для своей Родины. Растерзанной, распятой, оболганной…

*Век минувший оболган –*
*Будто сдали врагам*
*И горящую Волгу,*
*И Мамаев курган.*

Век оболган: карту минувшего пытаются перекроить, а то и стереть. Но он – жив. Жив – в сердце поэта, жив в миллионах сердец. Жив памятью и скорбью. Жив надеждой на торжество истины. И многие, многие, если бы они их знали, подписались бы под этими строками:

*И вновь они встают передо мной,*
*Согретые победным алым стягом,*
*Не ставшие ни страхом, ни виной, –*
*Звезда, и серп и молот, – над рейхстагом.*

Так Нестругин, всё понимая, горюя, прозревая, надеясь и каясь, в меру человеческих сил отдаляет от неоднородного, разобщённого народа гибельную точку невозврата, за которой – концесветный распад всех наших устоев…

*…Горюя, в крике не зайдусь,*
*И, может, в дни прозрений трудных*
*Хоть тихих слёз от них дождусь –*
*Не напоказных, не прилюдных.*
*Хоть – молчаливой невражды…*
*И будет это «подаянье» –*
*Навек ли, навсёды, завжды? –*
*Как траур. И – как покаянье.*

Поэзия Нестругина всё чаще отходит от личного, самоуглублённого, пусть даже и неотделимого от земли и судьбы, прорываясь к народному, общественно-социальному, даже – политическому. И потому она вобрала в себя многое – и гагаринский клич, и имперскую обиду янычар, и даже – через отвращение – вобрала тёмный, хмельной шум истории, кривляния власти и «бешеных трибун слюну»…

И всё-таки, истерзанная, почти обречённая вместе со страной, – его поэзия сохранила чистоту, сохранила святое неумение возыметь, сохранила сокровенную речь отчих мест, которую не всякий вития услышит. А если и услышит, то сможет ли воплотить с той некрикливой болью и суровой нежностью, с какой делает это Нестругин? Сможет ли так услышать и воплотить свою землю, не падкую, не клянущую, –

*…где чертит путь росинка*
*По лопуху – как след слезы.*
*И к грядкам клонятся косынки,*
*Платки, и даже – картузы.*

Сможет ли – так пронзительно, неотрывно от страны принять и воспеть ухабистый просёлок своей судьбы, пылящий уже у самых созвездий…

А вот ещё – высоко исповедальное, знаковое:

*Не надо золотых тиснений*
*Прилаживать на переплёт…*
*Я им чужой – такой несмелый,*
*Набравший многоточий в рот.*
*Я так касался строчек дрожко,*
*Так молчаливо словом жил,*
*Что даже имя на обложке*
*Пугает голосом чужим…*

Да, золотых тиснений – не надо, сорного семени, коего ныне в избытке – не надо! А необходим Глагол – небесный, земной, вечный, надрывный, русский. И несмелые, застенчивые многоточия тончайшей лирики, какой немало в книге, – ему не помеха. А может даже – помощь?.. И пусть – «даже имя на обложке» вызывает некий мистический страх, всё же есть у поэта пересиливающая радость высшего порядка. Радость прозрения, радость выражения (хотя и *«Нашлись слова не все ещё, не все…»*, – и слава Богу, что не все! Ненайденные, они и есть последний заслон от смертной горечи), радость причастности к родине, которая не хочет, да и не может с тобой распрощаться…

Так через всю книгу прямой, упрямой речью утверждаются – родина, и большая и малая, и поэзия. И нет меж ними зазора. Да, сшиты они суровым швом, и больно перебинтованы, и сукровица сочится. И всё же они – едины! Потому что они – жизнь…

Дышащая жизнью новая поэтическая книга Александра Нестругина непременно должна обрести своего вдумчивого, благодарного читателя. Дай Бог ей дороги – доброй и долгой!

Валентина ИВАНОВА

# Близкий человек

***Новые страницы иркутской прозы** (часть первая)*

*Она, вероятно, с июня болталась здесь, уцепившись за железную полоску. Сейчас ее било, хлестало дождем, стремилось сбросить и погнать дальше. Подруги, вымокшие до нитки, были стерты асфальтом под ногами прохожих. Она из последнего держалась за нечаянную опору, подаренную ветром. Тем самым ветром, который ее теперь судил и мучил. Мужество слабого, хранящего жизнь… Мне-то что? Оно вне меня. Там, за окном, под дождем – на оконной решетке. Так, пух, тополиный обрывок… слабая замученная ветка…*

Сюжет рассказа Альберта Гурулёва «Ель» *(ж.Сибирь, 2020-№6)* – это крупный план событий двух дней старой женщины, последних ее дней. Повествование в конце неожиданно расслаивается. Возникают одновременно два плана: земное и небесное, временное и вечное. Сквозь реальные события просвечивает высший смысл, надреальный, метафизический. А между тем, язык рассказа, сдержанный и лаконичный, отвлеченный от деталей, словно стертых в сознании главной героини, готовил к этому. Речь автора отрывает от земли, дает общий вид с неразличимыми мелочами, эмоциями, переживаниями, видимый, вероятно, отлетающей в небо душой. Такое слияние близкого и панорамного видения придает особую выразительность небольшому рассказу Гурулёва. Да и имя старой женщины – «Настасья» (Анастасия, от греч. anastas – «воскресший») – помогает чувству не от мира сего, задает нереальные координаты жизни главной героини.

Отстраненно перечисляются идущие друг за другом события: прибегала фельдшерица Валя, градусник ставила, дала горьких порошков, заходил Петрован, попросил стаканчик, потоптался у порога. «Сидит Настасья слушает, как река играет, как вяжется к ели ветер, как стучат топорами Петрововы парни. Слушает свою болезнь». Старая женщина открыта внешнему миру – свету, звукам, шумам, открыта и в себя. Но впечатления лишь касаются ее души, почти не оставляя следа. Душа скользит по зримому и мыслимому – прощается. Это замирание отмечено в перемещении внимания женщины с одного на другое, в неостановимом движении по воспринимаемому вокруг как смиренному принятию последних знаков жизни.

«Почему она промолчала, позволила Петровану срубить ель?» – спрашивают студенты на семинаре. Почему «высвеченная солнцем ель», «сытая, холеная», «новогодняя» досталась корыстному, лживому человеку? Кем для Настасьи был этот человек? «Молчит Настасья». Старая женщина, выбравшись за ворота на лавочку, любуется строящейся напротив избой. «Рубят ее из бревен смолевых, желтых, солнечных. Машет Петрован блестящим топором. Гонит по бревну широкую, как ломоть масла, стружку». Радуется Настасья этой рождающейся рядом жизни, напоенной светом. Ее высвеченная солнцем ель сопричастна этому миру, молодой семье, счастью, доброму дому. Петрован – часть рождающегося рядом мира, его творящая сила. Для укрепления добра и жизни отдана ее ель – прожитая счастливая жизнь, высвеченная солнцем. «Хороша лесина. Хоть на лодку, хоть …» – таит Петрован от Настасьи свои замыслы или сам еще не знает. Но трагизм в том, что мастер в живом дереве, метафоре чьей-то чисто прожитой жизни, – видит неживое, вещь. В этом горечь от молчаливого согласия Настасьи.

Одаривает Настасья не только Петрована. Она одаривает счастьем молодую семью в мысленном пожелании-утверждении: «Добрая изба у зуевского зятя будет», наделяя новый дом собственной солнечностью, радостью, крепостью и полнотой жизни («смолевых, солнечных», «широкую, как ломоть масла»). Душа Настасьи растворяется и в сострадании фельдшерицы Вальки, в ее плаче в трубку: «Да Валя это… – голос ее плачет». В ее кратком, сдавленном слезами: «Больной худо моей». В Валькином соучастии и родстве с судьбой другого – «моей», так называет она больную. Уход Настасьи из мира – это способность остаться в других, ощущаемых родными и близкими, в которых остается часть тебя. И каждому ею дано свое счастье, в своей мере, согласно его собственному достоинству.

И ель незримо остается с хозяйкой. Это тонко, хрупко отмечает автор. После поисков новой ели Настасья «*еле* приплел*а*сь домой». Выделенное началом предложения «еле» зарифмовано с «приплелась» и закрепляет корневую основу названия рассказа. Возможно, так получилось само собой, выражая звуком метафорический сплав «Настасья-ель». Зрелая красавица ель у дома, затем поиск молодой ели, долгий ее выбор соединяются в образе главной героини как зрелость и молодость, высвечивая в старости красоту, статность, благостный покой, полноту жизни. Скрытая под внешней болезненностью, красота собирается в образе ели как отражение состояния души Настасьи. Образ старой, больной женщины таит сердцевину – красоту и молодость. Эти качества и обнаруживаются в конце рассказа. «Настасья снова в лесу. Ель выбирает. Вместе с Алексеем. Алексей в мягких ичигах, красной рубашке, молодой и улыбчивый. Настасья тоже молода». Молодость является светоносным началом ее души. Невесомое «снова» запечатлевает созидательный принцип жизни Настасьи, возрождение, неизменное и неискоренимое стремление ее души к восстановлению разрушенного.

Особое значение метафоры-образа ели и в том, что «новогодняя», сытая, холеная, она – олицетворение ежегодного праздника завершения года. Краткое новогоднее счастье ели – в нескольких днях шумного, веселого праздника с подарками, знаменующего переход к новому этапу жизни. Надежды, ожидания, мечты сопутствуют празднику как обещание продолжения жизни. Содержащийся в звонком и радостном «новогодняя» смысл рождает издонное свечение и самого образа ели, и образа старой женщины. Ель хранит в себе солнце, свет, – метафоры счастливо прожитой жизни, сытость как наполненность, холеность как полученное благо. От полноты прожитого – и дар Настасьи. У хозяйки нет обиды за срубленную ель. Только дом ей теперь кажется старым, больным, обиженным. «Ничего, – шепчет. – Еще лучше посадим елку. На Теплом их пропасть…». Настасье известен источник блага, возможность доброго устроения жизни. И тревога в душе женщины возникает, скорее, от предощущения грани, перехода. Новая ель необходима ей как символ продолжения жизни, как следующий узелок жизненной нити.

Рассказ Альберта Гурулёва «Зависть» опубликован в том же номере журнала «Сибирь». Наполненный красками, эмоциями, отношениями рассказ втягивает в свой чувственный мир, дает ощущение реального присутствия на утиной охоте. Голубой цвет запечатлевается движением («линяет, плотнеет, опускается ближе к земле»), появляются новые краски, они вступают во взаимодействие (белый наливается красной силой), красный заливает кромки облаков, розовой становится вода. Но в величественную палитру заката диссонансом врывается «черная штука» – зависть. Физика повествования – в изображении цветовых, зримых, звуковых, телесных, эмоциональных впечатлений. «Мурашки в застывших от напряжения ногах», «деревенеет шея от крика», «прыгает, качается мушка ружья, рвут воздух выстрелы, вскипает вода под дробовой осыпью» и многое другое, – все осязаемо. Звукопись речи помогает передать грохот выстрелов, свист крыльев, плавность и легкость полета птиц, их касание крыльями воды, длительность ожидания: «глухо, раз за разом, бухнула крупнокалиберная двустволка», «в свисте косых крыльев, стремительные», «полетели утки, полетели», «летят низко, почти около воды», «и снова тягучее напряженное ожидание», собственный крик как «эхо гудит в хребтах», «и снова тишина, долгая томительная тишина». В звукописи обнаруживается родство с поэзией, передающей звуком чувство и смысл. Но метафизика рассказа все-таки возникает за осязаемой материей слова, в глубине… невысказанного – в столкновениях, противоречиях, разладах и том, что в них происходит.

Живой мир в меняющемся разноцветье запечатлевается душой, отзывчивой на красоту. При этом любование миром поглощается охотничьей страстью, желанием быть первым, удачливым. «Во-он, далеко, над тихим морем летят они», – обращается главный герой ко мне, оправдывая мое присутствие на охоте. И потому рассказ –